

Глеб Горышин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И ДЕВА ПЛАЧЕТ НА РАССВЕТЕ...

ВЕСЕННИЙ РАССКАЗ

К первой моей публикации в «Бежином луге» вводное слово написал редактор сего милого сердцу издания, мой друг многолетний Александр Апасов, в свойственной ему манере увлечения предметом изображения, с некоторыми преувеличениями и трогательным великодушием. За что спасибо тебе, мой друг сердечный! Спасибо за «Бежин луг»!

Предварить мой новый рассказ вступительным словом редактор «Бежина луга» препоручил мне самому, что исполняю с некоторым смущением в душе: что сказать о себе? Жив курилка. По прошествии долгой жизни, с катаклизмами в ней общего и личного характера, продолжаю писать в жанре самоизъявления. Когда-то такую манеру письма окрестили «лирической прозой». Было время равнения на субъективизм; личное начало в сочинении отвергалось в пользу общественных закономерностей... Занятия литературным сочинительством разнообразных индивидуумов почиталось общим процессом. В наше время, во всяком случае на поверхности, процесс стал как будто затухать, опять же в силу общественных закономерностей. Нынче, берясь за перо, понадеяться можно только на личное начало в самом себе.

И вот изъявляю себя – в прозе или в стихах, – с трепетом осознаю, каким богатством владею, что вечно прекрасно-животворяще – русский язык. Пишу – как будто разговариваю со множеством русских людей, зачерпываю из бездонной криницы слова, обороты, образы. Возделываю свой словесный огород: небось еще кому-нибудь пригодится.

Литература соединяет нас, русских, приобщает к наследию веков, золотому фонду нации – Богом нам данному языку. Работа над языком требует полного прилежания, как всякое общественно-полезное дело. В меру сил служу русской литературе – в этом главное о себе; все другое не так важно.

Читателям «Бежина луга» низкий поклон!

На недельку до второго
я уеду в Комарово.

Песенка

День был хороший (кажется, 25 апреля). Ходил по безлюдному Комарову, вынашивал весенний рассказ. Как весна – иные спешат высадить рассаду в парники, другие ударяют по девкам, третьи волокутся на демонстрации, а я вынашиваю (выхаживаю, высиживаю) весенний рассказ. Для рассказа явилась... нет, не завязка, завязки не будет, равно и развязки... Вспомнил: замечено, что счастливые семьи похожи одна на другую, а расстроены каждая наособицу. Так же и весны: уложились в календарные сроки – выходит весна-красна, а запоздает или поспешит – и состроит кислую мину. Нынче весна порывистая: с загорающими на пляже у Петропавловки в марте, с морозами по ночам, метелями в канун мая; в лесу полно снегу. Сегодня слышал в вершинах сосен поющих дроздов, пригодится в рассказе. Комарово – место обитания певчих черных дроздов.

Шел по комаровскому пляжу босой, по пояс голый, вбирал чуть внятное солнце, шершавость песка, как городской кот, привезенный после зимы на дачу, кидается на траву. На скамейке сидел старый дурак, седой, брыластый, пузатый. Он обратился ко мне, как к малолетку: «Молодой человек, вы что, и купались?» (Старый дурак не старше меня, пожалуй, моложе.) А на заливе у берега лед. Я ему: «А вы, папаша, купались?» – «Да нет, я думал, может, вы купались». – «Купайтесь, кто же вам мешает?»

Дураков у нас пруд пруди, и все насмешливо-высокомерные, делают замечания. И еще прорва алкашей, гадких хануриков, тоже уверенных в своей правоте. Кого почти нет, так это задумавшихся, спрашивающих себя: «Кто я таков?»

Иду в весенний день по совершенно пустому Комарову, вижу зябликов, говорю: «А вы, зяблички, чего накликаете дождь?» Вижу скворца, говорю: «Ах ты, скворец желтоклювый!» Вижу трясогузку, говорю: «Ах ты, трясогу-

зочка длиннохвостая!» Вижу Володю-кочегара, он мне говорит: «Как ваше здоровье?» Когда со мной был инфаркт, в Комарове, Володя нес меня на носилках и еще трое с ним, с третьего этажа Дома творчества писателей в карету «скорой помощи». (Приходит на память когда-то слышанная присказка-меню: «На первое щи, на второе овощи, на третье карета «скорой помощи».) Я говорю Володе: «Здоровье ничего»:— «Хотите выпить? — предлагает Володя.— У меня есть американский спирт. «Рояль» я не пью, дерьмо, а это совсем другое дело».— «Спасибо, Володя, в другой раз».

В эту весну у меня ничего здоровье. Можно писать весенний рассказ. Может быть, уже начал писать? Что такое рассказ? Запечатленное переживание. Ну да, весеннее. Зимних рассказов я не пишу. И летних.

Вечером истопил печь, сел к столу, излагал переживание в рифму:

Комарово. Вечер. Дача.
 Прошлогодня листва.
 Комары. Что это значит?
 Охлажденье естества.
 Естество не куролесит,
 кто-то музыку включил.
 Суший мир понятен, если...
 как учитель нас учил.
 Ах, учитель-попечитель,
 на заре минувших лет:
 тех, кто выстроил обитель,
 никого в помине нет.
 Комарово. Вечер. Дача.
 Солнце село не спеша.
 Телу холодно, тем паче
 в теле теплится душа.

И вот что еще бывает весной: сгребание листьев, хвои, веточек гибкими женственными граблями с длинными пальцами. Наши политологи любят употреблять заезженную шутку про грабли: не наступай на грабли, не то ногу поранишь да еще себе же черенком в лоб врежешь. Между тем кто-то изобрел мягко причесывающие грабли без острых зубьев. Госпремию дали? Ну вот... Я сгребаю прошлогоднюю листву в кучи, то же делает каждый дачник весной. В том нет особой нужды: прорастет трава, все покроет; действие больше ритуальное. Куча легко подпалывается, горит споро, клубится белый неедкий дым, пахнет весной. То есть весна пахнет первым лиственным дымом, как ранняя осень пахнет дымом сжигаемой на огородах ботвы.

Весной в Комарове я первым делом хватаюсь за грабли, гребу-расчесываю участок, сижу у огня, у дыма, ворошу золу. Паля весенние костры, занимаюсь естественным делом; костры палят испокон веков — в России, ближнем Зарубежье, дальше не знаю. Весной убирают, прихорашивают землю; ничего нет лучше, чем заниматься естественным делом. В другие времена года мои дела по большей части неестественные: что-нибудь написать, написанное продать (никто не берет, а возьмут, шиш заплатят) или участвовать в прямом, тайном голосовании, сидеть в криворылой компании, кого-нибудь осуждать. Да мало ли что... По веснам выпадает счастье сжигать прошлогоднюю листву...

Но сколько ни дыми, со всех сторон наползают воспоминания. Я помню то время, когда Комарово называлось Келломяками. Комаров, в честь кого переименовали, академик-ботаник, очевидно, жил в Келломяках в одной из дач, подаренных академии Сталиным. На комаровском кладбище академика Комарова нет. Недавно в Комарове выстроен замок-особняк с башенкой под цинком (только с одной стороны я насчитал девять дымоходных труб). Говорят, его построил некто Комаров, в прошлом повар из ресторана, неподалеку от того места, где в замке-особняке времен Финляндии на Карельском перешейке (говорили, что это дача Маннергейма), за высоким сплошным зеленым забором жили первые секретари Ленинградского обкома. Одного первого убивали, другого перемещали вверх, вниз; поселялся последующий. После войны жил Попков Петр Сергеевич, его, говорят (те, кто знает), били головой об стену на допросе по ленинградскому делу, а потом еще приговорили к расстрелу за измену родине. После Попкова был Андрианов: привезли откуда-то с Урала произвести полную замену руково-

дящих кадров после ленинградского дела, то есть учинить мясорубку. Сделал и сгинул. Хорошо ему помогал Фрол Козлов, поглянулся Хрущеву, был высоко вознесен; после кончины удостоен Кремлевской стены. Толстиков не пришелся ко двору, отправили послом в Китай. Еще кто-то был... Романов жил в другом месте и нынче живет. Последний первый секретарь, проводивший свободное время в Комарове за зеленым забором, — Юрий Филиппович Соловьев.

Нынешний комаровский Комаров, в прошлом повар из ресторана, построил замок-особняк с таким расчетом, чтобы можно было выдержать нападение бандформирования или толпы разъяренных бедняков, не позабывших лозунг: мир хижинам, война дворцам! Или даже осаду воинской части с легкой артиллерией: особняк обнесен капитальной кирпичной стеной с элементами декора, по типу кремлевской. Первые секретари обкома высокомерно-самонадеянно отгораживались от любопытства народных масс дощатым забором. Правда, у них была охрана (небось есть и в замке у Комарова): против угла секретарской территории помещалась будка, в ней денно и ночью сидел молодой ментик, то есть несколько ментиков посменно. Проходя мимо будки, я сочувствовал сидельцу: не сторожевая собака, молодой человек, а лучшие годы проводит в будке.

На прогулках вдоль зеленого забора всякий раз приходила мысль: каково здравствующему первому секретарю по ночам встречаться с духом убиенного? За что убили мужика? Может, и не герой, но — победитель: Ленинград врагу не сдали, победный салют грянул над берегами Невы — и в каждом сердце и в моем, мальчишеском тогда сердце! Победителя не судят, а здесь без суда. Ах, какое подлое дело!

Нынче есть умники-демократы, нас по «ящику» вразумляют: сдали бы Ленинград немцу, и не надо бы несчастным блокадникам в муках с голоду помирать. Париж сдали, французы под немцем вино попивали и хоть бы что. Ну, хорошо... Только давайте вспомним, господа умники задним числом, господин президентский советник Виктор Петрович Астафьев — ты-то знаешь, сам брал у немцев русские города: города все были ненаселенные, население изводили, угоняли в рабство. Города превращали в руины. Петергоф худо-бедно восстановили, второго Санкт-Петербурга, русским бы не построить, даже и с помощью братских народов. История у нас одна, Петр Первый не повторится и новый Пушкин не заведется. Каково бы нам, русским, без нашей стойкости, жертвенности, без несданных Москвы, Ленинграда, Сталинграда, без исторического примера — без веры в себя?!

В надгробие Пушкина в Святых Горах немцы, уходя, заложили семьдесят мин: убить всех, кто придет прикоснуться к национальной святыне, заодно взорвать последнее пристанище, прах поэта. Такова была установка фашизма в войне с Россией — чтобы и духу русского не осталось. А мы еще сами изводим себя — головой об стену на допросе, из танковых пушек по всенародно избранным... Бедные мы!

Ворота в ограде секретарского особняка в Комарове открылись для посторонних всего единственного раз, при Хрущеве, когда Хрущев покусился на льготы партаппарата — первый шаг в создании образа демократа: ах, «наш Никита Сергеевич!» Хрущев обладал широтой души, которую некому было сузить; подарил Украине Крым; при нем секретарский замок в Комарове, обширный лесопарк за зеленым забором передали в систему здравоохранения, в детский сектор. Моя мама была тогда главврачом в Зеленогорском кусту: Зеленогорск, Комарово, Репино, Солнечное, Ушково, Рошино. В распоряжении мамы были сантранспорты с шофером и медсестра. В летний сезон, когда по всему Карельскому перешейку дудели пионерские горны, пиццала: сопливая мелкота, моя мама являлась то тут, то там, в любое время суток, вникала во все кастрюли на кухне: чем кормят, не занесли ли кишечную палочку; мама пресекала нарушения режима, наказывала нерадивых, терпеть не могла пьяных. Когда случалась инфекция скарлатины, кори, дизентерии — обязательно случалась в каждый сезон, — мама брала на себя и это, и все другое. В короткие наезды домой, помню, мама закуривала «беломорину», затягивалась так, что ее впалые щеки совсем западали, а ее строгие, в молодости синие, с годами подернувшиеся пеплом глаза сощуривались, кожа у глаз собиралась в морщинки. Мою маму боялись, но в каждом детском садике, пионерлагере находились близкие ей по духу докторши, сестры, поварихи, няньки, любили и уважали.

Дачу первых секретарей обкома в Комарове (дачу Маннергейма) отдали детскому сектору, она вошла в круг забот моей мамы. Как-то раз мама взяла меня с собой показать свой чертог. Но я смотрел без внимания: в чертоге пищала мелюзга, пахло детским сектором. Так продолжалось недолго: сразу после Хрущева самую шикарную дачу на перешейке отобрали у детского сектора, вновь закрепили за человеком №1 в Ленинграде. Впрочем, сам по себе данный первый человек мало что значил как явление временное, зато отлажена была служба по содержанию первого лица (и второго, и третьего). Бывало, еду вечером в Комарово, сзади слышу как бы и не голос, а рык: «Жигули номер такой-то, примите вправо! Остановитесь!» Судорожно даю право руля, знаю: едет в Комарово на дачу Юрий Филиппович (Фрол Романович, Лев Николаевич), скатертью ему дорожка! В охранной машине не только магюгальник, но и сильная оптика: увидеть далеко впереди в ночи номер. Когда ехал человек №1, все другие едущие должны были уметаться с проезжей части, как шваль.

Сплошной зеленый забор в два человеческих роста в Комарове поныне стоит нерушимо, подновлен; ворота на запоре. Особняк обитаем: иногда в ворота въезжает какой-нибудь «мерседес». А что за люди, кто такие, чья льгота, никто в Комарове не знает.

Бывший повар Комаров построил свой замок как бы в ряд с бывшим секретарским замком (хотя какой же ряд? каждый замок на собственной территории) — ударным методом, в сжатые сроки. Подводили к замку Комарова теплоцентраль, на линии рычали бульдозеры, носились самосвалы. Ну, конечно, одному Комарову, в прошлом повару из ресторана, такую постройку бы не отгрохать, а кто за ним? Тайна сия велика есть. Стена вокруг комаровского замка такова, что внутрь не заглянешь, не достучишься. У входа в замок, то есть над входом, установлены два прожектора, очевидно, опять же на случай нападения-обороны.

Проходя мимо только что отстроенного комаровского замка, невольно прикидываю: вот здесь поставить танк, нацелить пушку и жхнуть. Такой оборот подсказывает наша действительность: в октябре 93-го года жхнули из пушек по парламенту — ради чьих интересов? Не для того же, право, чтобы вместо спикера на букву «Х» стал спикер на букву «Ш». Жхнули по воле нынешних замкостроителей, чтобы всем стало ясно: мы богатые! наше! не отдадим! Гражданские войны (мятежи, путчи, перевороты, подавление оных силой оружия) происходят не из демократических убеждений, не для усовершенствования политической системы, а когда делят собственность: было ваше, стало наше. Это нам объяснил еще Маркс, а мы делаем вид, что не знаем.

Особенно наглядно такое перераспределение в дачном поселке Комарово. В городе наружу выставились витрины, вывески с иностранным шрифтом, важно катят пузатые иномарки, на панелях преобладают криминальные рожи; бытование неимущего большинства сокрыто, заслонено. В деревне внешне что было, то и есть: по утрам дым из труб, звякнет колокольцами стадо, бабы на огороде, на дойке, мужики соображают у магазина на бутылку «Рояля»... В дачном поселке как на тонущем корабле: спасайся кто как может. Хотя рядом стоит на якоре суперлайнер (замок-особняк нового хозяина жизни), лодку не впускают, круга не кинут, руки не подадут.

В прежние времена в летнюю пору Комарово принадлежало детскому сектору. От детских садиков, пионерлагерей нынче остались фанерные ракеты, беседки, теремки, песочницы; не дудят горны, не пищит сопливая мелюзга. Комарово кормил курортторг: бывали самые ранние лук, петрушка, укроп, редиска, огурцы, помидоры; молоко, сметану, творог привозили из близлежащих совхозов. Нынче шаром покати, одна мерзость запустения. Закусочную в торговом ряду против вокзала, где можно было на два рубля похлебать борща со сметаной, уплести антрекот и запить компотом, для чего-то разрушили, возможно, в видах воздвижения на ее месте чего-нибудь невиданного. «Стекляшку» по дороге с пляжа на станцию, со своей котельной и кухни, раскокали; от ресторанчика на пляже остался ржавый каркас; раскурочены телефонные будки. И нет ни души: ни лыжника зимой, ни экскурсанта — побывать на могиле Анны Ахматовой, ни дачника, ни рыбака: дорого ехать из Питера в Комарово. Пробежит собака, посмотрит на тебя малохольными глазами с выражением: может быть, этого разорвать и съесть (разумеется, вкупе с другими собаками)?

На бывшей овощной лавке повесили вывеску «Кафе-бар», с месяц пошустрили юные коммерсанты и погорели, в буквальном смысле: изнутри подожгли; из пустых оконниц торчат головешки.

В продуктовом магазине, с прежними продавщицами, в очереди за постным маслом, гречкой, батоном можно услышать разнообразные суждения о нашей действительности. Вот дама-дачевладелица, давно мне знакомая, когда-то водившая экскурсии, с навыком громкоговорения на публику, с выраженным активным началом... Дама: «За семьдесят лет всех отучили хоть что-нибудь делать самостоятельно, как-нибудь проявить себя. Никто не умеет работать... А я как сяду за компьютер – такое блаженство! И столько предлагают всякой работы, приезжают из Англии, из Америки, у меня весь день звонит телефон, просят сводить, показать, объяснить, что происходит в России. И так хорошо платят! При советской власти я нажилась в бедности, это так оскорбительно! Слава Богу, настало прекрасное время!»

Неосторожно приглашаю даму оглядеться вокруг себя, что с нами стало. Неосторожно: дама смотрит на меня свысока, оппонент для нее все равно, что комар, отмахнуться или прихлопнуть. «Найдутся на что-нибудь годные люди, землю купят, построят отели, магазины, все будет о'кей. Первоначальный капитал всегда бывает грязным, потом все станет на свои места. Кто ни на что не способен, те вымрут, да-да! Это болезненно, но неизбежно. Появятся новые люди; старые ни на что не годно. Наконец наступило хорошее время. Так хорошо еще не было никогда. Каждый чего стоит, то и получит. На Западе писателей, кормящихся литературным трудом, единицы. Все служат, работают как собаки. Издатели, я видела, вкалывают на износ. Да-да! Там деньги так не даются».

В связи с такими словопрениями, болезненными для нервов, безысходными, промозгло-жестокими, мне приходит на память руководитель театра в Тарту, режиссер, теоретик искусства, мыслитель Каарел Ирда. Бывало, он приезжал с театром на гастроли в Ленинград, перед началом спектакля обращался к залу примерно с такой речью: «Сейчас вы увидите пьесу того времени, когда в Эстонии был капитализм. Да, было такое время... Нынче мы жалуемся: в магазине нет того, нет другого. При капитализме в Эстонии в магазинах было все, но тогда была другая важная проблема: у одних были деньги, у других денег не было. Это вам может показаться непонятным, но так было. Да!»

Ну вот, теперь так стало у нас, теперь нам это понятно, а милого, умного, все понимавшего Каарела Ирда давно нет в живых. На дворе студено, в доме тепло. Дом – дача Литфонда; в Комарове пять дач: сборные домики за общей оградой. В одной из дач в последние свои годы обитала Анна Андреевна Ахматова, по соседству жили поэты Гитович, Клещенко; на комаровском кладбище, осененном заглавным ахматовским крестом, могилки Гитовича, Клещенко поблизости от пантеона Ахматовой. Об этом чуть дальше.

Я снимаю полдачи у Литфонда, обанкротившегося наряду с Союзом писателей. Дом творчества писателей в Комарове больше пустует: писателям не из чего платить за эту свою привилегию, затаились по закутам. Иногда в Дом заезжают финны, наши богатые, еще кто-нибудь...

Так вот весна... вчера посыпала градом, сегодня снегом, отступила куда-то за леса, там затаилась. Сходил в ближний лес, спилил ножовкой сухую сосенку, наделал дров, истопил плиту, сварил супешник с той рыбой, какая есть в продаже. Картошки, морковки, да луку побольше: у меня как бы луковый суп. Толику рису, чтоб вышло гуще: первое и второе в одной кастрюле. Варю на Пасху уху...

Слушаю по «Свободе» профессора Грушина, профессор нас убеждает, что Россия суть terra инкогнита – непостижимая величина: все программы, предложенные в последнее время для обретения себя как государства с будущим, обернулись пшиком. Что с нами случилось? Что происходит? Никто не знает, ответа нет. Нами владеют трансцендентальные силы; социологи в полном прогаре, политики вякают не о том. Куда идти? Мы не знаем, однако идем, нас ведет инстинкт жизни, мы погружены в бессознательную экзистенцию. Профессору Грушину возразили Явлинский, Зюганов, Жириновский, но как-то вяло, сквозь зубы. Профессору Грушину – интуитивисту – много легче, чем позитивисту, левому или правому, коего могут упечь в тюрьму при любом повороте.

Прочел роман Коллин Маккалоу «Поющие в терновнике» — великий женский роман о естественных человеческих судьбах без социально-политической мотивации: муж, жена, родители, дети, старые, молодые, мощная, всепоглощающая природа в Австралии — бури, паводки, засухи, кенгуру, попугаи, змеи, поющие птицы; иссушающие и исцеляющие труды себе во благо и во благо Австралии; деньги, богатство, страх нищеты, пылкое томление плоти, укушенное любовью сердце; смерть близких, рождение несмышленных, приобщение к сладостному, горестному плоду знания — и к Господу Богу. Роман о разумных бесстрашных австралийских собаках — пастухах овечьего стада, основы всего. Овчепасу без собак в австралийской пампе нечего делать. Хороший роман о благах первоначального, ковбойского, колониального капитализма, коего у нас, горемычных, не было и не будет. Хотя простору хватает и всяких ураганов, и собаки у нас не дуры, только нет кенгуру. Читал роман «Поющие в терновнике», расчувствовался, даже всплакнул.

Главная привилегия писателей в Комарове состояла в том, что их хоронили на местном кладбище, в сосновом лесу, по дороге на Щучье озеро. Я прихожу на комаровское кладбище как будто в писательский клуб на Шпалерной улице, нынче сгоревший, как говорят, от стыда: писатели перессорились. Почти каждая могила в некрополе в Комарове, почти каждое имя на камне для меня встреча с самим собой, когда-то бывшим; здесь почти в полном составе мое близкое дружеское окружение, литературная среда, из которой я вышел. То есть здешние покойники были когда-то живехоньки, как могли, на меня повлияли (и я старался на них повлиять); теперь их нет; перед лицом их надгробий я как бы долгожитель. У профессора Григория Абрамовича Бялого проходил в университете курсе по Достоевскому, впервые докумекал, что Федор Михайлович не для курса, а для пожизненного хождения к нему за ответом, кто я таков. Профессор Лев Абрамович Плоткин... преподавал мне уроки советской литературы, доказал, как дважды два четыре, что соцреализм — единственно правильный метод. Вот, пожалуйста: в «Разгроме» Фадеева Левинсон — коммунист во веки веков, непобедимый, негибаемый; обращайся к его примеру и строй... положительного героя. Или Илья Эренбург... правда, и тот пошатнулся по молодости, написал сомнительную вещичку «Хулио Хуренито», но партия его вразумила, он все понял и больше не ошибался...

На могиле профессора Плоткина неподъемные (даже краном) тома, вытесанные из красного гранита, отшлифованные, том на томе... Досточтимые господа потомки, как же так?! Каково покойнику лежать под каменным многопудьем, не для того тома-то писал. Покойника надо щадить. Однажды при жизни Анна Андреевна Ахматова сказала профессору Плоткину, без укора, в своей величавой манере, поверх чего-либо личного: «Лев Абрамович, вы на поносные статьи обо мне построили дачу в Комарове». Лев Абрамович ухмыльнулся, все-все понимая. Но жизнь дается один раз и надо ее прожить... После всех уравнило комаровское кладбище.

Вера Федоровна Панова, когда я дал ей прочесть мои первые сочинения, одобрила меня: «У вас каждый герой говорит по-своему. Вы можете писать пьесы». Ах, Вера Федоровна, пьес я не написал ни одной, да и не все ли равно?! Комаровская супесчаная земля да будет вам пухом!

Дмитрий Остров... Когда мы с Дмитрием Константиновичем жили последний раз в Доме творчества писателей в Комарове, он дал мне взаймы пятерку, хотя с наличностью у него было туго, финансами распоряжалась его жена Зоя, по должности бухгалтер. В тот раз я назначил свидание девушке, пятерки бы мне хватило при любом повороте. Но девушка не пришла на свидание, я вернулся малость ушибленный, однако довольный собой, не уронивший себя. Отдал Мите пятерку, мы куда-то пошли, что-то купили. Мой старший товарищ меня поучал: «Умереть лучше всего на бабе, легкая смерть и как бы почтенная». Он кое-что знал, у него за плечами была тюрьма и война. Кто помнит повесть Острова «Капелька»? Повесть такая: сидели в лагере разные люди: один матерый бандюга, другой по указу: на работу опоздал или что-то в этом роде. Бандюга свой срок отмотал, ему выходить на волю; молодой доверчивый зек дал блатному адрес матери и сестры: устроиться на первое время. И написал как бы рекомендательное письмо. Бандюга воспользовался любезностью лагерного товарища, был принят в семейном доме. В первую же ночь не справился с собой: молодую изнасиловал и

прирезал, заодно и пожилую, прихватил что было в доме стоящего и... вскоре был схвачен. Его препроводили в тот же лагерь, в тот же барак... Судили своим судом воры в законе, приговорили... замочить (политические не возражали; единственный случай согласия политических с урками), но нашелся один изошренный, всех убедил, что может быть мера жесточе казни: отправить суку под нижние нары, оттуда не высовываться. Так и сделали, если сука высовывался, били в морду сапогами, давали пищу по капельке, за то и прозвали «Капелькой». Так было или не было, мы не знаем; отбывший срок в лагере по политической статье Дмитрий Остров написал художественно убедительную повесть «Капелька». При жизни автора «Капельку» не печатали, после его смерти, по смягчении режима, жена Острова Зоя «Капельку» издала. Не читали? Сильная вещь!

На надгробном камне Острова, под его именем имя жены Зои. Мирно спите: на комаровском кладбище тихо, только по веснам играют зорю певчие дрозды.

Вадим Инфантьев. Подполковник. Моряк. Инженер. Работал в КБ атомных подводных лодок. Увлекался дирижаблестроением. На праздники облачался в морской мундир, с кортиком, с иконостасом фронтовых наград, при усах, красивый, широкогрудый, прочный, как пароход. Когда Инфантьев оставил военную службу, стал членом Союза писателей, его определили парторгом Союза. Он был хороший парторг, без карьерного прицела, справедливый, общедоступный, к вечеру вполпьяна. Его решили сохранить парторгом на второй срок, пригласили в обком... О том, как повел себя Инфантьев в обкоме, после рассказывали смешную байку. Секретарь обкома, будучи уверен, что отличившийся парторг рад оказанному ему доверию, хотел поздравить бравого моряка... Инфантьев замотал головой, затряс усами, как таракан: «Что вы, нет, не могу, я же хронический алкоголик. Я как заведуесь – и допиваюсь до чертиков. Они лезут, я их вот так с пиджака сощелкиваю. Нет, увольте, никак не могу».

Однажды мы с Инфантьевым поехали в Хибины, в порядке шефства писателей над горняками, поднялись на гору Юкспор, на метеостанцию. Как поднялись? Вначале на шахтном подъемнике, прошли по выработкам, светя перед собой шахтерскими лампочками, через пробуренную дыру вылезли на заледенелый бок горы, на свирепый ветрило, привязали к ботинкам кошки и дальше вверх по тросику – таков был единственный путь на Юкспор. Вместе с нами карабкался на верхотуру подносчик продуктов – штатная должность на метеостанции. Наверху воцарилась полярная ночь, звезды так близко, что можно потрогать рукой; внизу огоньки поселков, как с самолета. И – сухой закон на метеостанции, необыкновенно вкусная квашеная капуста: повариха-искусница квасила. Ее история (повариха) такова: внизу под горой бедняжка спилась, без просвета, как спиваются женщины – до полного истощения всего, до сухотки. По настоянию начальника метеостанции пьянчужку воздынули на Юкспор (ей было все равно), в зону тотальной трезвости. Мы застали ее на шестом месяце пребывания на горе без единого схода вниз (одной бы ей не сойти), совершенно выздоровевшей, обаятельной, заботливо-хлопотливой, с ямочками на щеках, к тому же она была радисткой на судне, могла подменить радиста на станции, всем связала по vareжкам и носкам, и ах какие борщи, супы с клецками, котлеты, пельмени, макароны по-флотски подавались к столу на метеостанции на Юкспоре! Мы пожили и тоже почувствовали в себе признаки выздоровления от какой-то болезни, неизлечимой внизу. «Знаешь, я бы здесь остался, – сказал Вадим Инфантьев, – я в метеорологии разбираюсь». И я бы остался. Но надо было спускаться вниз.

Первый прочтенный мною рассказ Инфантьева (то есть услышанный: автор прочел его на литобъединении) – «Технари», о том, как на брошенном при отступлении военном аэродроме: летчики улетели, вот-вот появятся немцы – технари залезали в пилотские кабины, запускали моторы, выруливали, разогнались, взлетали – и... падали.

Спи спокойно, Вадим. Лучшего места для вечного сна, чем кладбище в Комарове, едва ли где сыщешь. Этой привилегии у вас, опочивших, уже не отнимут.

Исследователь Антарктиды Сомов лежит под глыбой породы, доставленной в Комарово из Антарктиды.

Анатолий Клещенко. Его прах привезла с Камчатки жена, то есть вдова Бэла. В молодости поэту Клещенко прочили судьбу Франсуа Вийона. Но вышло по-другому: Толю арестовали в сороковом году, подвели его поэтическое кредо под одну на все такие случаи статью: антисоветская агитация. После десяти лет лагеря Клещенко остался ссыльным в приобской тайге, освоил профессию охотника-промысловика. Его поэтическим инструментом стал винчестер. Вернулся в Питер жилистым, нервным, не прощающим малейшей обиды, с дымящейся трубочкой в бороде. Бывало, предупреждал: «Кто меня тронет или моего друга, застрелю из винчестера». Большею частью он жил в Комарове на даче Литфонда, рядом с «будкой» Анны Ахматовой, писал прозу, таежные повести. Винчестер висел у него на стене, стрелять в Комарове не в кого. Тогда еще не отстреливали людей, как сейчас. Повести Клещенко шли, по ним ставили фильмы, мог бы Анатолий Дмитриевич стать состоятельным членом Союза писателей... Но... вдруг улетел на Камчатку, оформился охотинспектором Елизовского района. Осенью его забросили вертолетом на соболиный промысел. Стояла долгая непогода, в условленное время вертолет не прилетел. Охотник в тайге заболел воспалением легких, лежал в зимовье, не в силах затеплить огонь в печи. Когда Толю Клещенко наконец привезли в Ключи в больницу, от него остались мощи. Там, в Ключах, и помер, царствие ему небесное, великомученику!

На крохотной могилке Клещенко в Комарове, не в ряд, осененной ахматовским крестом, гипсовый барельеф: Толя с трубочкой в бороде. Спи, Толя, в своем последнем пристанище. Над тобой поют звонкоголосые весенние птицы. Ты сам был певчим дроздом.

Кинорежиссер Виктор Трегубович. А через кладбище наискосок писатель Виктор Курочкин. Ну вот и сошлись, навсегда. Трегубович поставил хороший фильм по хорошей повести Курочкина «На войне как на войне». В послужном списке танкиста Курочкина есть медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». В повести «На войне как на войне» главный ее герой младший лейтенант Малешкин после победного боя благодушествовал в открытом люке своей машины, ловил по радию музыку. Случайно залетевший осколок перерезал его тонкое горлышко. В фильме Трегубовича «На войне как на войне» младший лейтенант Малешкин остается жить: режиссеру не разрешили омрачить светлый фильм трагической нотой в финале.

Но в жизни нет редсовета — наложить запрет на безвременную кончину так всем нужного **ДЕЙСТВУЮЩЕГО** лица. Виктор Курочкин умер раньше, Виктор Трегубович чуть позже, не все ли равно... Оба Виктора умерли молодыми, не одержав своей главной Виктории, оба так были нужны, что впору упасть на землю и разрыдаться.

Вся наша дружба с Витей Курочкиным состояла из примечательных историй, ибо был он прирожденным драматургом, прежде всего собственной судьбы. Однажды Курочкин пригласил меня пожить с ним летом на речке Куйвасари, впадающей в Свирскую губу, на охотничьей базе у его друга егеря. Я приплыл на речном трамвае из Паши в Свирицу, прошел берегом канала, с норами ласточкиных гнезд в песчаных откосах, с крупной земляникой в траве... На двери охотничьей базы висел замок. Неподалеку на рыбацком стане варили уху. Я спросил у рыбаков, где хозяин базы, где его гость? Рыбаки развели руками: «Куда-то ушли, похоже, уехали в город». Что было делать? Посидел на берегу и обратным ходом в Свирицу. Пригорюнился на причале, жду речного трамвая. Вдруг по каналу: пых-пых-пых — идет лодка с мотором... Ткнулась носом в берег, из лодки выскочил Витя Курочкин, маленький (но удаленький), с облупленным от солнца лицом. «А я рыбачил, пришел, мне рыбаки говорят, был такой длинный, я понял, что ты». Мы сели в лодку, Витя стал заводить, мотор не завелся. Он чистосердечно признался, что в последний раз прикасался к мотору, когда командовал самоходкой. А дело вышло такое (история): Курочкин вернулся на базу, узнал, что я был и ушел, впал в свойственный ему транс, ни секунды не раздумывая, прыгнул в лодку егеря, дернул шнур, мотор завелся... Он вообще не обдумывал своих поступков, действовал по порыву. Как младший лейтенант Саня Малешкин: шли в атаку, передний танк подбило, самоходка осталась без прикрытия под огнем вражеских батарей; механик-водитель остолбенел от страха (первый бой). Машина стала. Командир кубарем выкатился из люка, попытался, маня за собой свою самоходку. Водитель очухался, самоходка пошла и случайно подбила два «тигра». После боя комполка,

наблюдавший за делом в стереотрубу, спросил у Малешкина: «А ты чегой-то свой зад подставлял немцу под прямую наводку?» Младший лейтенант смешался, не знал, что ответить. За этот бой младшего лейтенанта Малешкина представили к Герою, а экипаж к орденам.

От Свирицы до Куйвасари по каналу мы в тот раз допихались колыями. На кладбище тихо. Спите, ребята, земля да будет вам пухом!

Владимир Торопыгин, поэт, редактор журнала, мой друг сердечный. Прости, Володя, тебя давным-давно нет, а я все гуляю. О, как мы гуляли с тобой! В последний вечер я сидел у твоей постели. Рак тебя выгрыз, выпил, иссушил, выголил тебе череп. Ты оторвал лицо от подушки, сказал: «Ты знаешь, меня вызывали в ЦК, мне предложили стать королем Испании...» Наутро позвонила твоя жена Майя: «Володи больше нет».

Ну вот, Володя, теперь ты в том месте, где все испанские короли (за исключением ныне здравствующего). Я полагаю, у вас на том свете титулы упразднены, равно и место прописки... И все же и все же, будь на то моя воля, когда придет мое время, и я бы к вам в Комарово... Но, я слышал, комаровское кладбище нынче только для новых, для Комарова, который построил замок... Впрочем, не все ли равно...

Поют на кладбище дрозды
о том, что май, пора гнездовий,
до первой северной звезды...
А ночью слышен голос вдовий:
«Мой незабвенный, жди меня,
и я приду к тебе в могилу...»
На вещей крест в преддверье дня
садится ангел шестикрылый
иль серафим – не разберешь...
А где-то в поле сеют жито.
«Мой милый, ты меня не ждешь,
а я храню, что пережито».
Поют весенние дрозды
в большом лесу на этом свете,
до первой северной звезды...
И дева плачет на рассвете.